

В чем ошиблась Эмма Герштейн?

О МАНДЕЛЬШТАМЕ, МАРИИ ПЕТРОВЫХ И РАКОВИНЕ В ВИДЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

13–14 февраля 1934 г. Осип Мандельштам пишет стихотворение «Мастерица виноватых взоров...», обращенное к Марии Сергеевне Петровых, которое Ахматова впоследствии назвала «лучшим стихотворением XX века», а сам Мандельштам сразу причислил к «изменническим» стихам, не имеющим права на публикацию при его жизни — «мы не трубадуры».

Надежда Яковлевна вспоминала: «Он уже не мог писать стихи другой женщине при мне, как в 1925 г. (Ольге Ваксель — О.Ф.) (Стихи Петровых написаны в несколько дней, когда я лежала на исследовании в больнице...)». И далее «у него было острое чувство измены, и он мучался, когда появлялось изменническое, как он говорил стихотворение... По-моему, сам факт измены значил для него гораздо меньше, чем «изменнические» стихи».

Долгие годы, уже после гибели поэта, Мария Петровых считала, что автограф адресованного ей стихотворения «Мастерица» утрачен; в мандельштамовских сборниках текст его воспроизводился по спискам Надежды Яковлевны. Известно, что Мандельштам «работал с голоса», то есть, как пишет Наталья Штемпель, «создавал стихи на слух, а потом диктовал их Надежде Яковлевне». Он говорил: «Стихи, записанные Надеждой, могут идти в порядке рукописи».

Но с «изменническими» стихами все было иначе. «Оригинал» их мог быть записан только рукой самого Мандельштама. В 1979 г. после смерти Петровых ее первый муж, П.А. Грандицкий, передал хранившуюся у него часть архива Арины Витальевны Головачевой, дочери Марии Сергеевны. В папке с ранними стихами Петровых лежала мандельштамовская рукопись «Мастерицы». В сравнении со списками Надежды Яковлевны она имела несколько различий. Одно из них кажется нам наиболее существенным: в строке 21 вместо слов «Ты, Мария, — гибнущим подмога» было написано: «Наша нежность — гибнущим подмога».

В ночь с 13 на 14 мая 1934 года Мандельштам был арестован органами НКВД и препровожден на Лубянку. Ему инкриминировалось написание террористических стихов. На одном из допросов Мандельштаму был показан первый вариант: «Мы живем, под собою не чуя страны, / Наши речи за десять шагов не слышны. / Только слышно кремлевского горца — / Душегуба и мужикоборца». Мандельштам ознакомил следователя со вторым: «Мы живем, под собою не чуя страны, / Наши речи за десять шагов не слышны, / А где хватит на полразговорца, / Там припомним кремлевского горца».

Среди людей, слышавших это стихотворение, Мандельштам назвал Марию Петровых. На тюремном свидании с женой он «перечислил имена людей, фигурирующих в следствии» (то есть названных им в числе слушателей), чтобы Надежда Яковлевна «могла всех предупредить». Дальнейшее хорошо известно.

До конца жизни Надежда Яковлевна была убеждена, что единственным человеком записавшим это стихотворение с голоса Мандельштама, была Мария Петровых. Так же твердо она была убеждена в том, что «судя по всей жизни, этот человек вне подозрения».

Наша беседа с Ариной Витальевной Головачевой касалась преимущественно событий 1934 г. — времени и атмосферы создания «Мастерицы», Арина Витальевна рассказывала об этом так, как запомнила со слов матери — Марии Петровых.

Ольга Фигурнова

АРИНА Витальевна, в ходе работы над своими мемуарами Эмма Григорьевна Герштейн консультировалась с вами? Я имею в виду главы «Конфликты — большие и малые», «Маруся», «Развязка надвигается», «Игра в смерть»...

— Дело в том, что книгу Эммы Григорьевны я не читала — из чувства самоощережения, равно как и предвещающие книгу статьи. Мне было достаточно того небольшого, что мне пересказали. Когда Эмма Григорьевна готовила этот материал, она как-то позвонила мне и сказала, что пишет книгу о том времени, и что ей очень важно дезавуировать многое из книг Надежды Яковлевны Мандельштам. В этом разговоре она вспоминала маму тех времен и, разумеется, очень по-доброму. Она просила меня уточнить, кое-что из того, что я помню по рассказам мамы. Мы анализировали варианты стихотворения «Мастерица виноватых взоров...» — «официальный» вариант и тот, что хранится у меня. В этих текстах имеются расхождения. В частности, слова «Ты, Мария...» в официальном варианте, относительно которых мама не сомневалась, что они были вставлены Надеждой Яковлевной. Мама говорила: «Мандельштам — поэт до мозга костей, он никогда не мог бы так написать» (то есть столь неопозитично, прямолинейно и банально). Но, к сожалению, рукописи стихотворения у мамы тогда не было, и она считала, что рукопись безвозвратно исчезла в 1942 году, когда сгорел дом в Сокольниках, в котором мы жили перед войной. После мамининой кончины в 1979 г. ее первый муж, П.А. Грандицкий, передал мне папку с маминими рукописями, где были ее ранние стихи, и в этой же папке была рукопись «Мастерицы». Вместо «Ты, Мария...» там было написано «Наша нежность...». Эмма Григорьевна была абсолютно согласна со мной, что «наша нежность» — это не нежность двух конкретных людей, а человеческая нежность вообще — подмога гибнущим. И автор молит об этой подмоге.

Когда в конце 80-х годов готовился к печати двухтомник Мандельштама, мне позвонил Павел Нерлер с просьбой прислать фотокопию этой рукописи. По утверждению Нерлера, слова «Ты, Мария...» он видел не написанными рукой Мандельштама, а вписанными рукой Надежды Яковлевны

вместо пропуска, сделанного, кажется, в машинописном варианте. Возможно, сам Осип Эмильевич, восстанавливая по памяти текст этого стихотворения, вспомнил не все и поставил многоточие, надеясь вспомнить впоследствии.

Что касается статьи Поляковой (С.В. Полякова. Осип Мандельштам: наблюдения, интерпретации, заметки к комментариям // «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб, 1997), посвященной этому стихотворению, то маму очень задела предложенная ею трактовка (рукопись статьи была прислана Марии Петровых автором) — что-то изощренно эротичное... Мама же воспринимала Мандельштама глубоким стариком и никак не могла отвечать на его влюбленность. Впрочем, я думаю, что и, Осипу Эмильевичу, не столько нужны были любовные отношения, сколько необходимо было кем-то восхищаться. Мама считала, что на самом деле он всю жизнь любил только Надежду Яковлевну.

— Арина Витальевна, давайте вернемся к мемуарам Герштейн. В частности, в них Эмма Григорьевна говорит вполне утвердительно (ссылается на устные свидетельства Надежды Яковлевны Мандельштам и Елизаветы Яковлевны Эфрон), что перед первым арестом Мандельштама Мария Сергеевна (после прочтения ей Осипом Эмильевичем «Горца») была в таком состоянии, что могла пойти к следователю... Чувствуя себя Раскольниковым, «с трудом удерживающимся, чтобы не броситься в объятия Порфирия Петровича». Цитирую дословно. Это было?

— У меня просто нет слов, такого просто не могло быть! Этого мне никто не решился пересказывать. Убеждена, что ни Надежда Яковлевна, ни Елизавета Яковлевна Эфрон ничего подобного не говорили. В противном случае, такое свидетельство появилось бы в воспоминаниях Надежды Яковлевны. Она только указывала маму в числе людей, которые записывали текст стихотворения. Но мама текста не записывала. Она запомнила стихотворение с голоса, один раз и на всю жизнь, он прочел ей его чуть ли не шепотом.

— То есть текст ее рукой не был записан. — Не был. Ну, во-первых, тогда записывать боялись, боялись держать у себя написанное. Во-вторых, мама была молодая, память на стихи была прекрасная, именно на стихотворный текст. Я в свое время тоже запомнила это стихотворение с мамининого голоса. Когда вышла вот эта часть «Воспоми-



Слева направо сидят: Мария Петровых, Эмиль Мандельштам, Надежда Мандельштам, Осип Мандельштам и Анна Ахматова. 1932 год.

ваний» Надежды Яковлевны, мы с мамой их тогда обсуждали, и она говорила: «Не только я не записывала, это вообще было бы дико записывать».

— В записках Герштейн подобной категоричности нет, она пишет, что Мандельштаму показалось, будто у следователя был экземпляр антисталинского стихотворения, записанный рукой Марии Сергеевны.

— Тут я ничего не могу сказать — ему могло показаться, или Надежда Яковлевна неверно передала его слова, или Эмма Григорьевна неверно передала слова Надежды Яковлевны. Мне известно только, что Осип Эмильевич на допросе назвал маму в числе тех, кто якобы записывал текст стихотворения. И мама прекрасно понимала, чем это может грозить ей самой. Узнав о показаниях Мандельштама, Пастернак встретился с мамой и смотрел на нее, как на человека, который...

— ...обречен.

— Да, как смотрят на человека в последний раз. По словам мамининой сестры, Екатерины Сергеевны, Осип Эмильевич назвал в этом списке маму, так как надеялся оказаться вместе с ней в ссылке. Источником этих сведений, по словам Екатерины Сергеевны, тоже была Надежда Яковлевна.

— Но она об этом не написала.

— Я бы на ее месте тоже не написала. Но, как мне кажется, если это действительно было, она говорила об этом... ну, как о какой-то...

— ...бредовой идее.

— ...да, бредовой идее любимого человека, находящегося в экстремальной ситуации. Мама очень ценила его поэзию, она считала, что Мандельштам — это просто воплощенная поэзия, но он всегда был очень далек от реальности.

— Герштейн ссылается на ваш рассказ со слов Марии Сергеевны о приходе к ней Ахматовой. Помните: «Зачем вам этот мальчик?». Это — о Лье Гумилеве. Вы что-нибудь можете добавить?

— Да, я рассказала это Эмме Григорьевне в ответ на ее слова о том, что Анна Андреевна была недовольна заинтересованностью Эммы Григорьевны в Лье. Я сказала, что, видимо, Анна Андреевна как мать боялась, что кто-то будет стараться увлечь ее юного сына (ему было тогда, по-моему, восемнадцать) и, видимо, Анна Андреевна боялась увлечения его мамой. При всей любви к Анне Андреевне мама всегда вспоминала эти ее слова с обидой. Ведь она была на восемь или десять лет старше Льеви и воспринимала его как ребенка, сына Анны Андреевны. И у нее не могло быть стремления его увлечь... Обычно они приходили на Гранатный вдвоем — Лева и Мандельштам. Мама со своей сестрой Катей воспринимали эти визиты к юмором. Тогда еще никто не знал, что этим людям уготована такая страшная судьба.

— Герштейн запомнилось, что Ахматова называла Марию Сергеевну «сиреной». «Что ж она — сирена?» И этой сирене, с «напряженным и влажным блеском зрачков», так запомнившихся Мандельштаму, Эмма Григорьевна поставила клинический диагноз: истеричка.

— Возможно, Эмма Григорьевна очень тогда страдала от неразделенной любви и теперь, когда всех этих людей уже нет, она осталась одна и может беспрепятственно говорить о них, что ей вздумается — она дождалась своего часа.

— Герштейн удивляло, почему Мандельштамы привечают и интересуются Марией Сергеевной. С ее точки зрения, она могла тогда только «шебетать», то есть «в детском тоне» вести разговоры о нарядах и вечеринках, что Эмме Григорьевне казалось «тривиальным».

— Возможно, в юности мама больше интересовалась нарядами, чем впоследствии, когда я могла уже ее помнить. Что же касается отношения Мандельштамов к маме, то сама мама объясняла это бездетностью, потребностью в каком-то молодом существе. Возможно, у Эммы Григорьевны на всю

жизнь осталось чувство обиды — то, к чему она так стремилась, другим давалось легко и даже помимо их желания. Ведь у Эммы Григорьевны, видимо, было глубокое чувство к Лье.

— Об этом у нее есть отдельная глава «Лишняя любовь».

— Видимо, мама возникла совершенно нектати, и Эмма Григорьевна не смогла ей этого забыть.

— Здесь Эмма Григорьевна ставит своеобразную точку: «Напомню, что Льеу «увела» я».

— Господи... Нет, видимо, мама этого просто не заметила. Лева был молоденький, совсем молодой человек, и влюбленность во взрослую замужнюю женщину — довольно частое явление. Мама не считала, что это было какое-то глубокое чувство с его стороны. А что касается Эммы Григорьевны — мама как раз говорила и с сочувствием, и с уважением, что в такое опасное время она отправляла Лева посылки. Это, конечно, был мужественный поступок.

— Арина Витальевна, расскажите о пепельнице, которая до сих пор хранится у вас дома. Она ведь тоже как-никак вошла в историю.

— Это не пепельница. Это раковина.

— Раковина?

— Раковина, которая использовалась как пепельница. Там действительно есть углубление такое темное — от пепла уже давнего... В этом качестве она использовалась именно в те годы. Потом у нас ее, видимо, сочли достаточно неудобным для этого предметом.

— Мария Сергеевна тогда уже курила?

— Она начала курить где-то в девятнадцать лет, когда училась еще на литературных курсах и была на практике в газете «Гудок». Там вся редакция курила, и она привыкла. Потом мама встретила этих людей, все они были ее старше. И все до единого уже бросили курить. А она как закурила тогда, так на всю жизнь.

— И этой раковиной-пепельницей Мария

Сергеевна когда-то от Осипа Эмильевича оборонялась?

— Именно так. Она всадила ему шип в шею, когда он пытался ее поцеловать. Пошла кровь. Еще мама рассказывала, как однажды они с Осипом Эмильевичем бродили по каким-то переулкам, в основном их встречи были такого рода. Мама говорила: «Обязательно ему хотелось, чтобы я ему сказала «ты». Я отнекивалась, потому что мне было как-то дико сказать «ты». Но Осип Эмильевич был очень настойчив. И, устав от уговоров, мама, наконец, сказала: «Ну, ты!». Он, потрясенный, отшатнулся и в ужасе воскликнул: «Нет, нет! Не надо! Я не думал, что это может звучать так страшно».

— Ахматова говорила, Лукиничу, что она очень любила Осипа Эмильевича, но не выносила, когда тот целовал ей руку.

— Да, и у мамы было тоже такое же физическое отталкивание. Но, как я понимаю, со стороны Осипа Эмильевича это был порыв, который скоро закончился.

— Что же касается книги Эммы Григорьевны, повторяю — я ее не читала. Мне что-то стали рассказывать... и я очень долго, несколько месяцев просто не могла спокойно спать... Я просыпалась и думала: что же такое ужасное случилось? Вот так бывает.

— Причем как мама помогала Эмме Григорьевне! Я не помню чем, материально невозможно... Хотя она сама жила очень трудно, но тем не менее при первой возможности старалась помочь, в частности, ее публикациям о Лермонтове. Считала ее серьезным исследователем, сочувственно рассказывала, что Андроников узурпировал Лермонтова и никого к нему не подпускает, и в целом относилась к ней хорошо. Хотя... она мне говорила, что у Эммы Григорьевны есть такое свойство (обычно оно бывает у женщин, у которых не совсем удачно складывалась личная жизнь) — она всех подозревает в чем-то дурном. Например, я была совершенно потрясена, когда Эмма Григорьевна как-то сказала нам: «Вот Нина (Ольшевская — О.Ф.) и этот... (она назвала имя приятеля кого-то из «мальчиков Арловых») — здесь дело нечисто». Странная была формулировка для такой, в сущности, интеллектуальной дамы. Пораженная, я спросила потом: «Мама, что же это такое? Как же так можно?». Она говорит: «Понимаешь, у Эммы Григорьевны дурное воображение. Ей все время кажется, что вокруг нее происходит...»

— ...адюльтеры.

— При этом сама Эмма Григорьевна была оскорблена воспоминаниями Надежды Яковлевны, где говорилось, что Эмма Григорьевна «лювила мужчин». И мама была оскорблена за нее. Она говорила: «Как можно так писать о человеке?». А теперь всех этих людей уже нет, нет Анны Андреевны, которая сказала бы: «Эмма! Теперь я вам просто не могу подать руки». У нее было такое выражение. Например, интеллигентный человек антисемиту не подает руки... Так же, как подлету, предателю...

— Очень страшно. Создается впечатление, что вокруг Эммы Григорьевны жили какие-то большие, изломанные люди. А это были и Мандельштам, и Ахматова, и Мария Сергеевна Петровых...

— Знаете, какое-то время назад я слышала по «Эху Москвы», что книга Герштейн — лидер по популярности... И, наверное, подается ее иметь в доме, но я не смогла бы взять ее в руки, не то что жить с этой книгой под одной крышей!

— Когда вышла статья Эммы Григорьевны (которую я тоже не читала), мы говорили о ней с Никой (Н.Н. Глен — О.Ф.), и она мне сказала: «Ариша, но, может быть, вы напишете?» Я говорю: «Но чем я могу что-то доказать? Я, в конце концов, при этом не присутствовала...» Конечно, у меня очень слабая позиция — ведь тогда я еще даже не родилась. А сейчас Эмма Григорьевна — единственный свидетель. И многие решат, что дочь просто защищает честь матери. Но я просто достаточно хорошо знаю маму, и кроме того, на протяжении жизни мама не раз рассказывала мне о том периоде...

